

Юрий Львович Котлер (1930-2020) — прозаик, журналист, драматург, педагог. Более 30-ти лет проработал в журнале «Советский Союз» и 20 — в должности ответственного секретаря журнала поэзии «Арион». То есть 20 лет мы с ним были бок о бок. Порой мужья со своими женами не проводят столько времени.

Вот он спешит в редакцию со своей простью. В дубленке, подаренной главой Монголии Цеденбалом. Восхищающийся каким-то поступком Ангелы Меркель. Юрий Львович — самый несоветский советский человек. Тонкий, мудрый, дипломатичный, комфортный. И замечательный рассказчик. Иначе было бы непростительно. Такая биография не дается просто так.

Дмитрий ТОНКОНОГОВ

Ю р и й К о т л е р

**ПЕСЧИНКИ, СПАЯННЫЕ
В МОНОЛИТ**

Впервые со Сталиным жизнь свела меня в 1936 году, в год Его конституции, хотя слова этого тогда я, естественно, не знал, мне было шесть лет. На майскую демонстрацию отцу — а его колонна шла первой у Мавзолея — райком разрешил меня взять. Сбор в полутьме, стояние, пробежка, опять топтание на час, и так бесконечно — даже тающий вафельный кружок был безвкусен; к тому же баян, взвизги, рев лозунгов, путаница палок с портретами — я был измочален задолго до Исторического музея. Но стоило отцу сделать шаг по брусчатке, я на его плечах ощутил некое дуновение — мы вступили в пространство важнее жизни. Волны восторга, обожания, жертвенности неслись к фигуркам, стоящим на трибуне над буквами ЛЕНИН, встречаясь с обратным потоком уверенности и силы. Точно над буквой Н стоял Он, в фуражке над усами и с

поднятой правой рукой. Его соратников было плохо видно даже из первой колонны, да и сама она почти бежала, но я-то знал, что над буквой Н возвышался колосс, проникновенное «Сталину слава!» подтверждало это и крепило.

В первом классе я был недосыгаем — единственный, кто удостоился быть с Ним практически бок о бок.

Самым изумительным стало то, что с великим кормчим, а все эпитеты я уже знал наизусть, мне довелось, скорее, неслыханно по-счастливилось, столкнуться вновь, и нос к носу, через год или два. Отец, а он был, видимо, в фаворе, получил приглашение во МХАТ, на «Дни Турбиных». Чтобы допустить в театр и меня, штампик «без места» нуждался уже в санкции горкома партии. Место было не ахти, видно плоховато, да и спектакль — большая скука, запомнился навсегда один М. Яншин, житомирский кузен Лариосик, и одинаковые коверкотовые костюмы во всех рядах. Зато с нашего места отлично просматривалась ложа неподалеку, безлюдно черная и — это такое ощущение — тайная.

Спектакль уже шел, когда, как и на памятный Первомай, пронеслось знакомое дуновение. В ложе, положив правую руку на край, сидел Он, тот же френч, те же усы. Я вырвал у отца бинокль, но, прекрасно понимая, что пялиться туда нельзя, направил его вроде бы на сцену. Тут же чья-то мягкая рука опустила бинокль мне на колени. Однако что-то я успел и чуть не заплакал — левая рука Сталина странно висела, мутно-пунцовая щека вся в оспинах, лоб низко висит над бровями; когда Сталин встал, стало видно брюшко.

Опустился, наконец, занавес. Несколько секунд тишины, и осторожные аплодисменты.

Сталин подошел к краю ложи, а зал, скрипя креслами, обращившись к ней. Подняв левую руку, он несколько раз ударил по ней правой. Зал взорвался аплодисментами. Вождь опустил руки. Зал замер в тишине. Сталин два-три раза снова хлопнул в ладошки, повернулся, и его укрыла чья-то широкая толстая спина. Зал рукоплескал, актеры в приподнятом настроении вышли на поклон. Пробежка перед Мавзолеем поблекла. До самой войны я с голым к однокашникам презрением рассказывал, что не только видел, но и, можно сказать, сидел рядом с вождем, и как он мощен, дальновиден и, если надо, суров. Я выглядел старше своих лет, и школа мне верила.

А читать я научился в три года по газете «Правда», сидя у отца на коленях, и, вероятно, со слова «нилатС». К началу войны был уже политически грамотен, т. е. знал, что миллионы энтузиастов, все народы СССР, в экстазе строят что-то типа Дворца Советов, отказывая себе в самом необходимом, а вот пролетарии всех стран запаздывают, видимо, по своей буржуазной привычке, стремясь прийти на готовенькое. Вождь в фуражке с Мамлакат Юлаевой на руках, скромно улыбаясь, мудро и терпеливо вправляет всем мозги.

Детство — всегда счастливое время, военное ли оно, детдомовское, сиротское, даже лагерное, только потому, что тебе очень мало лет и в мир — а он еще ярок и буен — ты лишьходишь. Другое дело, когда оно кончается. Нас, не доросших до жертвенных шинелей, выдернули из детства рано, но это было, скорее, весело, все твое, свободы от пуза, ты ничего не имеешь, но ни за что и не отвечаешь.

Память — причудливая штука. Зимой 1939-го я приморозил губу к ободку санок и затихал только вечерами среди взрослых. Запомнились, ввиду полного непонимания, два названия. Отец сильно выпил и заплакал: «Что же усатый делает? Майнила — копия Глейвица». Позднее я узнал, что в поселке Майнила в ноябре 39-го чекисты расстреляли красноармейцев, дав повод начать финскую войну. 31-го августа в Глейвице переодетые в польских солдат эсэсовцы захватили радиостанцию.

Ухнула война, я, спрятавшись от эвакуации и завывсив возраст, стал бойцом ПВО, трубил ночами на крыше, ожидая зажигалок. 16-го октября, в день великой московской паники, дежурства не было. Я пошел посмотреть, как грабят магазин в первом корпусе нашего дома. Мужик с багровым лицом в буденовке тащил через витрину мешок муки, осколок стекла прорезал мешковину, а мужик все тащил ошметки, оставляя на заросшей грязи молочно-белый след. Позже, уже спокойной ночью, вылезая на крышу через чердачное окно, я сразу наткнулся на прилипший лист, листовка — внизу крупно: «Мы накормим!» — и фотография: обросший щетиной человек в шинели без ремня и франтоватый офицер в фуражке с черепом, подпись: «Яков Джугашвили, старший сын Иосифа Сталина, в плену». Впервые я испытал ужас, я впал в панику. Спички ломались, не зажигались, наконец, кое-как листок удалось чуть спалить, снег с дождем его смыли. Я выдохнул, руки тряслись.

Снова еще одна ночь тоже засела в памяти, ясная морозная ночь уже в конце октября 1941 года. Мы дежурили с Платонычем, стариком лет сорока, у него на руке не было двух пальцев, он всегда болтал без умолку, как-то раз назвал себя «недобитый биолог». «Хочешь посмеяться, парнишечка? Высылали у нас умников к чертовой матери, философский пароход, кучу... хороших... да! Откуда тебе знать?.. А был такой Шпет Густав Густавович... он и попросись: оставьте! без родины, мол, не могу. “Милый, ему в ответ, родина — это святое, вождь это оценит!” Чуть выждали... и в землю родины и отправили, одна пуля, всего-то. Извини. Зачем тебе рассказываю? Забудь к чертовой бабушке. Не сердись...» Пыхнул луч, и, хотя бил он в спину, возникло ощущение удара. Когда я смог открыть слезящиеся глаза, всё было ярко освещено неподвижным лучом. В голубом сверкающем дыму висело распластанное тело: ушанка, ватник, ватные толстые штаны, кирзовые, в застывшей грязи, сапоги, черное тело словно бы плыло, колеблясь. Луч ушел в сторону, послышалось, будто мешок картошки бросили с грузовика.

Сталин вновь осенил мою жизнь в лютые морозы 1941-го: на ноябрьские праздники наш отряд ПВО вызвали в райком партии, и там кто-то при двух шпалах вручил мне пачку, большую, 200 граммов, табака «Беломор»: «Товарищ Сталин поручил наградить тебя, ты вместе со всем народом доблестно отгонял фашистов от Москвы». Это примирило меня с жизнью, я ведь не пошел за медалью «За оборону Москвы» — ровесники уже носили звезды Героев. Но Сталин-то, оказывается, знал меня, можно сказать, пожал руку. На эту пачку мы с мамой жили дня три.

За всю войну, «от звонка до звонка» у меня ни разу не случился насморк, ни когда мерз, ожидая зажигалок на крыше ночами под леденящим ветром среди голубых трепещущих столбов, ни когда топтался под снегом в часовых очередях, пока пустят «отovarить» карточки, даже в лютую зиму 41-го. Первые сопли потекли, когда я насквозь промок под ливнем, сдуру решив прорваться на июньский 1945 года Парад Победы. А так хотелось хоть краем глаза глянуть, как к стопам родного мне колосса на Мавзолее летят аж 200 насквозь промокших, должно быть, тяжелых знамен жестокого Рейха.

На том присказка кончается.

Все это время, едва с придыханием произносилось великое имя, — вдалеке слышался призрачный бронзовый перезвон.

До окончания школы оставалось два года. Школа стояла в Колпачном переулке, возле Покровки, тогда улицы Чернышевского, дружили мы с Геной Шангиным, позже автором песни «Синеглазочка»; Симоном Соловейчиком, сыном журналиста Константина Симонова¹, вынужденного сменить псевдоним; Женей Глезерманом, сыном видного философа-марксиста; чуть от нас в стороне Володя Осенев, племянник кого-то очень важного и без фамилии. Предмет общей гордости: напротив школы — особняк горкома ВЛКСМ, где Шелепин якобы благословлял Зою Космодемьянскую. Это много позже в конец Колпачного потянулись суетливо оглядывающиеся полутени — в ОВИР.

Бюст вождя стоял в школе в вестибюле, и каждый раз, входя, я кивал ему, как родному.

Жили мы с отцом и мамой на седьмом этаже в 12-метровой комнате бесконечно длинной коммунальной квартиры № 114 по Казарменному переулку, 8, с двадцатью тремя соседями. Ванной не было, а на кухне с одной раковиной, но столами и ведрами по всем углам, до 1947-го стояло подобие русской печи, потом провели газ.

В конце 1944-го года возродился в доме отец. С июля 41-го он жил на ЗИСе, автозаводе им. Сталина, весь сентябрь руководил минированием завода «Динамо» и окрестностей на случай сдачи Москвы; потом Урал, Сибирь, командировки — как не понять, он выполнял задания Сталина, настолько мудрые, что не справиться было нельзя.

Все тянула на себе мама, стандарт для женщины в войну. Неведомо, когда у нее находилось время, но, меня плохо понимая, она знала все и, в мелочи не вмешиваясь, вела меня, чего я, ясное дело, не понимал. Она сутками горбатилась над швейной машинкой «Зингер», строча исподнее для Красной Армии, раз в неделю мы с ней на подобии санок, то с колесиками, то с фанерными полосками, отвозили тяжелые пачки в Хрустальный переулок, в приемный пункт, не ближний от нас свет. Думаю, она обшила не одну

¹С. Л. Соловейчик (1930–1996) — известный журналист в области педагогики, его отец Л. И. Соловейчик, тоже журналист, в «Красной звезде» до войны писал под псевдонимом «Константин Симонов»; после того, как Кирилл Симонов стал Константином, сменил псевдоним на «Л. Савельев». (Прим. автора).

дивизию, и полагалась ей за это служащая карточка. Была она родом из Моршанска, из старообрядческой семьи.

47-й стал самым горьким годом. Мама упала в обморок, ее удалось устроить в Бурденко, там сделали операцию, пытаясь удалить опухоль мозга, она так и не пришла в сознание. И грязный скол на кафеле пола приемного покоя, и бурое пятно на халате врача, и синие губы отца помню по сию пору, помню и почти непереносимую боль в голове на убогих поминках. Это, однако, не помешало мне, когда на выпускных экзаменах попался трудный билет, изображать рассеянность, провал в памяти, вызванные понятным горем.

Жизнь учила меня. Сначала воровское, потом инвалидов войны, и тоже уголовное, окружение в нашем дворе было неплохой школой, стать ее выпускником во многом не позволила мне именно мама. И надо отдать должное инвалидам, особенно дяде Владу Залкинду, из наших подвалов, они тоже, как умели, оберегали дворовых пацанов от соблазнов. Но не всех. Восемь моих одноклассников со двора сели — четверо как «щипачи», трое за групповое изнасилование, один за разбой с убийством. А инвалидов войны ранним утром лета 1946 года автоматчики пошвыряли в грузовики и вывезли из Москвы на просторы Севера.

Так что аттестат зрелости придал мне наглости, да и терять вроде было нечего. С отцом не складывалось, он и сам отвык от меня за войну. Двор, комната, вся Москва обрыдли, жестко тянуло в свободное плавание. Брат отца жил в Ленинграде, остановиться было где. Опустим подробности, в итоге я осел в педагогическом институте имени Покровского и, разгружая вагоны, заработал на угол в доме по улице «Правды» — раскладушка, отгороженная платяным шкафом.

Студенческая жизнь очаровательна в большинстве случаев, какие-никакие деньги были, и отец присылал, учиться, в общем, интересно, читали и Радциг, и Жирмунский, бывали Дживелегов и Розенталь. Незаметно сложилась и компания, человек десять, Вася Бетаки, Женя Рейн, Сергей, фамилия забылась, появлялись, исчезали девочки. Короче, жизнь беспечная, беззаботная, вольготная, цены в ресторанчиках, забегаловках вполне приемлемые. По весне на всех углах продавали салаку, вкусноты необычайной. Да еще, абсолютно бесплатно, белые ночи.

Не изувечив нас, прошумели и «ленинградское» дело, и эскапады Жданова, и борьба с космополитизмом, мы все пили, все гуляли, все крутили романы и между делом сдавали экзамены. Естественно, разоблачали академика Марра, лихо излагали сталинские теории — и языкознания, и экономики. Общий распорядок жизни планеты был определен на века вперед, и мы были вписаны в него вплоть до победы царства социальной справедливости.

Была, конечно, одна особенность у эпохи. Первый раз я в нее вляпался, когда задумал бежать на фронт, сыном полка. Это оказалось легко — влезть в вагон эшелона на Курском вокзале и затаиться на третьей полке. Минут через пять меня за ногу стащили вниз и швырнули на перрон, мимо поплыли вагоны с заключенными окнами, из одного выпал комочек бумаги и полетел подхваченный ветром. «Это на восток, парень, — равнодушно сказал дежурный, пряча красный флажок, — на этот фронт еще успеешь».

Потом в школе с третьей четверти начали исчезать дети каких-то наркоматовских начальников.

— Вы все, — пришла в класс завуч, — должны вспомнить разговоры, вас будут опрашивать. До деталей! Вы поняли?

Опросили. Меня, например, большой толстый весельчак в коверкотовом костюме и при галстуке. Он постоянно стучал незажженной папиросой по крышке «Герцеговины Флор». Голова кружилась, так лихо перескакивал он с темы на тему.

— А вот, — он сунул папиросу в рот, — бьют товарища Сталина чернилами... И кто? — Он хихикнул. — Ты?

У меня отнялись ноги, я залился краской и, значит, пропал. Я единственный знал, это Осенев случайно споткнулся.

— Так отмыли же!

— Что значит отмыли? Это чей бьют, твой? — И снова хохотнул. — Все-таки, значит, ты?

Бьют был Сталина, непогрешимого настолько, что муха не имела права на него нагадить. И мы действительно скоблили его, бьют все равно поменяли.

— Не ты? Не врешь? Так кто?

— Ой, это у первоклашки непроливайку выбили на площадке. Прямо над.

— Ой, врешь ты, ведь покраснел. Знаешь ведь!

Толстяк был прав, но заботило его не пятно, а треп моих однокашников, но я с ними мало общался, и он отвязался. Володке я, конечно, рассказал.

А уже в институте, словно метлой, некая сила прошла по преподавателям, их ряды резко поредели, но ненадолго, та же сила все выровняла.

Не припомню никого, кто бы об этом надолго задумался, тем более, озаботился.

Ярче всех в студенческой компании собутыльников был Сергей, с филфака ЛГУ, забыл фамилию. Про Сергея можно сказать, что он-то был лишен тормозов полностью — на спор ровно в полночь только в галстук вышел погулять у памятника Екатерине II. Молоденький постовой, онемев, слушал речь в тональности старой профессуры минуты две. Оштрафовали, и то потому, что был трезв:

— По пьяной лавочке если, — сказал начальник отделения, — я бы понял.

Это просто жуть, до чего легко способны на всё молодые неокрепшие, азарт — мощный двигатель поведения. Сергей и в размышлениях своих вслух не знал тормозов. Беспечность наша тогда зашкаливала, а у него переходила все границы. Сергей был поглощен общностью нацизма и большевизма, он знал немецкий и читал «Mein Kampf», что привез с войны брат.

В одну из белых ночей 49-го года портвейн «777» привел нас на Марсово поле, неподалеку от Института культуры, человек семь. Сергей был в ударе, запомнилось почти дословно.

— Ленин сгусток воли, строил культуру заново, невиданную никогда, но свихнулся, Сталин продолжает, тех же щей, но наваристей. Думаете, большевикам нужно послушное и тупое общество? Чушь! Послушание не вопрос, тупость и насаждать не надо. Главное, все заново, все новое — мораль, поступки, закон, лексика. Не личность — человек у нас всегда винтик, колесико, — но песчинки, спаянные в монолит. Именно цивилизация будущего — на лжи, коварстве, наглости, и тем победим всё и всех.

Вася Бетаки усиленно кивал и, наконец, высказался, не очень владея речью:

— Так, старик, да! Но ты чего? Всего-то зигзаг! А история — это спираль вверх. Лопнет твоя цивилизация, ничего в ней нового.

Кто-то, однако, возразил:

— Может, так, может, нет. Ленин только нащупывал дорогу. Торит-то ее Сталин. Мы одни против мирового зла, он же миллионы ведет от победы к победе.

«Три семерки» сменились «жигулевским», разговор ушел в сторону, примерно такова была эта ночь, и если бы только одна эта белая ночь. Шел треп, все смелее и смелее едва ли не повсюду, где появлялся Сергей, и ведь не доносили, что необъяснимо. Жемчужина Уголовного кодекса, творчество В. И. Ленина — 58-я статья, пункт 4-й гарантированно, и еще два-три для верности, светила ярко и четко. О том, что в самом счастливом в мире обществе существуют провокации, сложные ловушки, хитроумные чекистские задумки, мы не догадывались. Смелость, даже в виде кукиша в кармане, опьяняла. Дело было и в том, что знания-то наши ограничивались Герникой, Лидице, Бухенвальдским набатом, с одной стороны, Матросовым, 28-ю панфиловцами, пленением Паулюса, с другой.

Экзамены были сданы, и надо иметь совесть, отец в Москве то-сковал, к тому же домоуправ требовал справку об учебе. За плечами три курса, и я снова в жаркой комнате, опустевшей без мамы, и отец на работе. После ленинградских дворцов и дворов, просторов Невы и белых ночей Москва казалась еще более запущенной, тусклой, пропыленной, чем на деле. Казармы, особенно в той части, где сидело командование пограничниками, выцвели, стены облупились, и весь Покровский бульвар был в пыли до верхушек вянущих деревьев, даже в Милютином саду. Знакомых никого, друзья-приятели в Ленинграде, тоска.

Вот и брел я однажды вдоль казарм узнать, что крутят в кино «Аврора», когда кто-то надавил на плечо. Боже! Володька Осенев! Надо же, уже лейтенант, форма еще топорщится, я не сразу заметил, что погоны с голубыми просветами.

— Старик! Ух ты! Маскарад, что ли?

— При дядьке-то — забыл, кто он? А ты? Как твой Питер?

«Питер» тогда не говорили. И откуда знает? Но это ерунда, не главное, стали вспоминать школьные годы далекие и слегка размякли. У Покровских ворот напротив трамвайной остановки, неподалеку от генеральского дома стоял ларек, всем известный, продавали водку, газировку, можно было получить и шпротину на куске хлеба.

Мы взяли по сто граммов, сели на парапет скверика, где много позже поднялся памятник Крупской. Солнце грело, пыль летела, хоть и не были мы особо близки в школе, но расслабились, вполне понятно. Володя сходил за вторыми ста граммами, уже со шпротами.

— Слышь ты! — он вдруг грубо оборвал мою фразу. — Я младший оперуполномоченный госбезопасности по нашему Красногвардейскому району. Я сегодня добрый.

— И что? — Я психанул, ведь я рассказывал о студенческой жизни.

— И то! Ты под колпаком, при каком-то Бетаки, студенты вишье. Пункта три 58-й. Грек, что ль?

Мелькнула и улетела мысль, что грянула зима, тряс озноб, а под мышками промокло. Липко облип страх. Такая уж была эпоха — неосознанный страх у всех и всегда сидел глубоко-глубоко, время от времени высовывая усики. Все было ясно и лишало речи.

— Ты допей. — Володя допил сам и сбросил капельки со стакана. — Бери ноги в руки и мотай отсюда, ты меня не видел. Пошел, понял? Мы с тобой не виделись, усек? Туда же. Грек!

— Куда мотай?

— Куда? Да куда хошь! Подальше. — Он поставил стакан на край и невнятно, через силу: — За бюст спасибо.

Он уже явно корил себя за порыв, я толком и не расслышал. О нем, обо всем я забыл, как не было. От выпитого начало развозить, и как я дошел до дома, не знаю, хватило, правда, ума лечь и заснуть. Водка в ряде случаев целительна.

Наутро, едва отец ушел, я налегке, не забыв, однако, справку из пединститута и уже запирая комнату, спохватился, нацарапал «Уезжаю, напишу», прикнопил записку к наличнику. Ближе всего был Курский вокзал.

Высадился я в Краснодаре. В крайОНО — ах, справка, справка! — меня расцеловали, дефицит учителей жуткий. Есть место в станице Бакинская, ждут жилье, дрова, еще какие-то блага. Готовы даже завтра, когда подпишется приказ, подбросить до станицы Саратовской, а там всего километров семь.

Наверно, можно было поторговаться. Станица Бакинская оказалась, даже по тем временам, дырой, дворов пятьдесят и на отшибе от шоссе. Обычная, в общем, глубинка. Молодежи, впрочем, хватало, паспорт колхознику недоступен, путь на свободу один — армия.

Про блага в крайОНО не соврали, более того, директор школы Федор Федорович Шамрай вручил ключ от своего персонального сортира, тоже на дворе, но с комфортом. Поселили у завуча Ивана Степановича, жил он один в большом доме, вдов, дочери разъехались, так что раздолье.

1 сентября 1949 года я, учитель средней школы, шагнул в пустой грязный класс. Мне забыли сказать, что учеба ежегодно начинается с полевых работ — кукуруза, табак, буряк, что-то еще. На попутных грузовиках добираться в Краснодар оказалось не слишком сложно, так что время полетело, а к ноябрьским праздникам и занятия начались — 27 оболтусов, ничего не знающих и знать не желающих. Московская школа, в общем-то, каторга, увиделась раем.

Станичная жизнь монотонна, тупа и бессмысленна, весной, зимой, осенью Бакинская — почти остров. Проселок, единственная артерия, соединяющая с узловой станицей Саратовской, затоплен в эти сезоны «мулякой», грязью, срывающей каблуки, подошвы с ботинок, выдерживали только чоботы. Конечно, от зимнего полубезделья, от тоски вообще спасение было. Самогон — панацея, необходим во всех случаях, от простуды до развода, и развлечение — по субботам участковый на бодром коне начинал объезд с бабки Лукьяны, за последним стаканом к Лукичу уставший конь сам вез его. Так и шли дни, месяцы и не один год.

Весна 1953 года на Кубань не спешила. Пирамидальные тополя вдоль проселка стояли понурившись. Редко грохотал мимо школы трактор, таща за собой плуг, а то и комбайн в ремонт. Светать стало пораньше, но не очень. В классе готовили стенгазету и плакаты к Женскому дню.

Заметать станицу снегом начало с 3-го на 4-е марта, поземка, острая, колючая, мечущаяся, часа через два сменилась густым, едва ли не сплошным снегопадом. Снег шел и лип повсюду, к ночи все было замечено, у дверей выросли сугробы, из-под них пробивались хилые ручеечки. Никто подобного каприза природы не мог и вспомнить, а кошка у Ивана Степановича вообще залезла на печь и даже за молоком оттуда слезать отказывалась. Федор Федорович отменил занятия. Невесть с чего, пробившись сквозь метель, приехала аварийка, и мастер долго копался в раструбах громкоговорителя на площади перед школой у станичного совета, хотя матюгальник вроде гудел исправно.

5 марта два четырехугольных раструба на столбе у совета грянули гимн Советского Союза, но без слов Михалкова, кто нас всех вырастил, помнили и так. Было шесть часов утра, но здесь вставали много раньше и к этому времени уже убирались после завтрака. Репродукторы гремели и гремели долго, а потом онемели, Забрестило робкое низкое солнце, и обрушился новый заряд, носа не высунешь. Белое-белое пространство, белые крыши, ни соломинки не видно, ни собаки по дворам, только дымки из труб — какая там Кубань, глухая Сибирь.

В ночь на 6-е, похоже, никто не спал. Было чувство, будто тишину слушала вся станица. И не скажешь, что чего-то ждали, еще до снега распутица отрезала от внешнего мира, райкомовские комиссии по подготовке к посевной заснули, почта, и та не могла пробиться, так что никаких сплетен, домыслов, никаких слухов. Но не то, что невысказанное, даже неосознанное, предчувствие все-таки было, постоянное тех лет дуновение.

6 марта тишина стала грозной, она рушилась гуще снега, лавиной. Повсюду, во всех домах, скрипели двери, население выплескивалось за палисадники и тянулось на площадь, парни, девушки, старики, несли и грудников. Папахи, ушанки, цветастые и серые платки, кепки, все в слоях снега, посреди белого в бликах и искрах простора площади — невиданное в станице зрелище. Стояли, ждали. Молчали все.

В шесть часов, еле-еле светало, репродукторы громко хрипнули, и чистый скорбный голос Левитана начал читать ошеломляющее известие: «5 марта в 9 часов 50 минут...» Заныл чей-то ребенок, и сразу звериным воем зашлась женщина. В ту же секунду зарыдала, забилась в судорогах немалая часть площади, и было там человек за сто, всех возрастов, все почти одинаково одеты. Вмиг с голов сорвались шапки, вмиг лица стали похожи одно на другое, рыдали все без исключения, горькие слезы ровняют. Гремел уже траурный марш под легкий бронзовый перезвон.

У столба с репродукторами директор Шамрай бросил кубанку наземь:

— Я член райкома партии! — Голос его сорвался на визг. — Нас вырастил Сталин, — он подавился рыданием. — Кто? Кто теперь?

— Нет! — Невероятной высоты дискант повис высоко и затерялся в хлопьях не перестающего идти снега.

— Залечили иуды! — негромко и жестко сказал кто-то рядом. — Врачи-кровопийцы.

Площадь захлебывалась, слезы пополам с потеками текли по морщинам, по розовым щечкам. Павел Емельянович, учетчик, стоявший рядом, помялся, спросил неуверенно:

— Вот ты из Москвы, и что? Пропадем?

— Вряд ли.

— Думаешь? Моих всех, матку, деда, братьев, угнали. — Он подумал. — Кто, где, ничего не знаю.

— А сам как же?

— Я-то? Лукерья спрятала.

— А еще казаки в станице остались?

— Откуда, мил человек? Кого не угнали, в войну сгинули.

Лукерья, повариха кукурузной бригады, она стояла рядом, маленькая, немного кривая, густые в седой белизне волосы из-под платка, и хрипела от рыданий.

Комбайнер Палыч, отец абсолютного бездельника пятиклассника Лешки, по прозвищу Кныш, взял меня за руку:

— Ты моего не гноби, слышь. Он Сталина обожает. Я его с собой на Волго-Дон брал, там Сталин стоит, о-о! — Он встал на цыпочки.

— Колосс?

— Чего!?

Завуч Иван Степанович держался, было видно, изо всех сил, он тоже шагнул к столбу:

— Сталин — вождь, таким останется навеки. — Он едва не подавился, сдерживая рыдания. — Наша сила! Слава наша! Пребудет веки!

Слова его вызвали новую волну скорби, кто-то, как в кулачном бою, задыхаясь, крикнул:

— Кто? Кто поведет? Некому!

— Казаки! Пропадем! — откликнулся басовитый голос.

— Где он казаков видит? — услышал я рядом.

— Казаки! Жидье его сгубило! Это врачи! Вражины!

— Ой, правда! — Доярка Катя, щупленькая, однако пухленькая, с косой на голове, полушалком на плечах, затрясла кулачком. — Вешать мало! Вот вам крест, они и бабушку мою в гроб свели! Осиротил ты нас!

— Осиротил! — подхватил хор товарок. — Отец ты наш! Один был! Сгубили! На кого бросил!?

Запахло истерией, пик подобного напряжения, кроме драки, обычно разрешить нечем. Разве что метель временно отодвинула, чуть приглушала собой страсти ненадолго.

Снег заглушил и различимый в другое, обычное время грохот колес. Телегу, за неимением иного, вполне можно было счесть за ех машина: неожиданно, в высший пик зашедшей в тупик трагедии, в толпу врзался Лукич, заглавный в станице самогонщик. В телеге перекатывались на соломе две десятилитровые бутылки, в руках Лукич держал еще одну — трехлитровую.

— Первач! — Лукич самозабвенно бил себя в грудь. — Лукерья! Тащи бегом солёные!

Подобного, как, впрочем, и перенасыщенной снегом метели, Бакинская в своей истории не ведала. Двадцать три литра — не так уж много на такую прорву народа, градусов за семьдесят, однако, но баян явился вмиг.

Разом остановилась и метель, выглянуло робкое солнышко.

— Спасибо великому Сталину! — на всю площадь рявкнул мужской голос, и ему ответило мощное «Ура! За Сталина!»

По площади покатилося — «Родному и великому!», «Слава Сталину!»

Подошел Шамрай, уже успокоенный, в кубанке до бровей, пожал, кому смог, руки, и громко, уверенно:

— Сталин — наше знамя боевое. И смерть его не тронет! Коммунисты не сдаются!

— Фед Федыч, — подбежал Кныш, — а каникулы по трауру будут?

— Всё тебе будет, — засмеялся Шамрай.

Никто и не заметил, что метель ушла, оставив по всей станице сырой липкий вязкий снег. Снег начал подергиваться хрупкой коркой.

Опять была непролазная, но уже осенняя, грязь того же 53-го, 1953-го. Попуток не нашлось, пешком до Саратовской, там и Краснодар, и поезд, мягко покачиваясь, убаюкивает и, главное, движется.

Учителей в Москве навалом.

Чтобы стать учеником слесаря на заводике у Крестьянской заставы, очень засекреченном (клепали обычные выключатели, но

для оборонки), нужно заполнить шесть страниц. «Не был», «не участвовал», «не состоял», «не привлекался», «не находился», «нет» — анкета прозрачна и чиста, как льдинка в роднике. С такой анкетой не стыдно попроситься и в КПСС.

До глубокой зимы ходили разные слухи, расстрел врага и шпиона Л. Берии развязал языки, больше всего о днях прощания со Сталиным, о безумной «ходынке», но не той, забытой, а на Трубной площади и окрест. По весне и они утихли.

Ясности так и не было: чтить ли память колосса или пора начать дергать его за усы. На торце Мавзолея еще жили два имени, равные большие красные буквы.

